

1. Горбунов и Горчаков

«Ну, что тебе приснилось, Горбунов?»
«Да, собственно, лисички». «Снова?» «Снова».
«Ха-ха, ты насмешил меня, нет слов».
«А я не вижу ничего смешного.
Врач говорит: основа всех основ —
нормальный сон». «Да ничего дурного
я не хотел... хоть сон того, не нов».
«А что попишешь, если нет иного?»
«Мы, ленинградцы, видим столько снов,
а ты никак из этого, грибного,

не вырвешься». «Скажи мне, Горчаков,
а что вам, ленинградцам, часто снится?»
«Да как когда... Концерты, лес смычков.
Проспекты, переулки. Просто лица.
(Сны состоят как будто из клочков.)
Нева, мосты. А иногда — страница,
и я ее читаю без очков!
(Их отбирает перед сном сестрица.)»
«Да, этот сон сильнее моих зрачков!»
«Ну что ты? Часто снится и больница».

«Не нужно жизни. Знай себе смотри.
Вот это сон! И вправду день не нужен.
Такому сну мешает свет зари.
И как, должно быть, злишься ты, разбужен...
Проклятие, Мицкевич! Не ори!..
Держу пари, что я проспал бы ужин».
«Порой мне также снятся снегири.
Порой ребенок прыгает по лужам.
И это — я...» «Ну что ж ты, говори.
Чего ты смолк?» «Я, кажется, простужен.

Тебе зачем все это?» «Просто так».
«Ну вот, я говорю, мне снится детство.
Мы с пацанами лезем на чердак.

И снится старость. Никуда не деться
от старости... Какой-то кавардак:
старик, мальчишка...» «Грустное соседство».
«Ну, Горбунов, какой же ты протак!
Ведь эти сновиденья просто средство
ночь провести поинтересней». «Как?!»
«Чтоб ночью дня порастрясти наследство».

«Ты говоришь «наследство»? Вот те на!
Позволь, я обращусь к тебе с вопросом:
а как же старость? Старость не видна.
Когда ж это ты был седоволосым?»
«Зачем хрипит Бабанов у окна?
Зачем Мицкевич вертится под носом?
На что же нам фантазия дана?
И вот воображеньем, как насосом,
я втягиваю старость в царство сна».

«Но, Горчаков, тогда прости, не ты,
не ты себе приснишься». «Истуканов
тебе подобных просто ждут Кресты,
и там не выпускают из стаканов!
А кто ж мне снится? Что молчишь? В кусты?»
«Гор-кевич. В лучшем случае, Гор-банов».
«Ты спятил, Горбунов!» «Твои черты,
их — седина; таких самообманов
полно и наяву до тошноты».
«Ходить тебе в пижаме без карманов».

«Да я и так в пижаме без кальсон».
«Порой мне снится печка, головешки...»
«Да, Горчаков, вот это сон так сон!
Проспекты, разговоры. Просто вещи.
Рояль, поющей скрипке в унисон.
И женщины. И, может, что похлеще».
«Вчера мне снился стол на шесть персон».
«А сны твои — они бывают вещи?»
«Иль попросту все мчится колесом?»
«Да как сказать; те — вещи, те — зловещи».

«Фрейд говорит, что каждый — пленник снов».
«Мне говорили: каждый — раб привычки.
Ты ничего не спутал, Горбунов?»

«Да нет, я даже помню вид странички». «А Фрейд не врет?» «Ну, мало ли врунов... Но вот, допустим, хочется клубнички...» «То самое, в штанах?» «И без штанов. А снится, что клюют тебя синички. Сны откровенней всех говорунов». «А как же, Горбунов, твои лисички?»

«Мои лисички — те же острова.
(Да и растут лисички островками.)
Перспекты те же, улочки, слова.
Мы говорим, как правило, рывками.
Подобно тишине, меж них — трава.
Но можно прикоснуться к ним руками!
Отсюда их обширные права,
и кажутся они мне поплавками,
которые несет в себе Нева
того, что у меня под башмаками».

«Так, значит, ты один из рыбаков,
которые способны бесконечно
взирать на положение поплавок,
не правда ли?» «Пока что безупречно». «А в сумерках конструкции крючков прикидывать за ужином беспечно?» «И прятать по карманам червячков!» «Боюсь, что ты застрянешь здесь навечно». «Ты хочешь огорчить меня?» «Конечно. На то я, как известно, Горчаков».

II. Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» «Да, миска киселя и овощи». «Ну, все повеселее. А что снаружи?» «Звездные поля». «Смотрю, в тебе замашки Галилея». «Вторая половина февраля отмечена уходом Водолея, и Рыбы водворяются, суля, что скоро будет в реках потеплее». «А что земля?» «Что, собственно, земля?» «Ну, что внизу?» «Больничная аллея».

«Да, знаешь, ты действительно готов.
Ты метишь, как я чувствую, в Ньютоны.
На буйном тоже некий Хомутов
— кругом галдеж, блевотина и стоны —
твердит: я — Гамильтон, и я здоров;
а сам храпит, как наши харитоны». «Шло при Петре строительство портов,
и наезжали разные тевтоны.
Фамилии нам стоили трудов.
Возможно, Хомутовы — Гамильтоны».

«Натоплено, а чувствую озноб».
«Напрасно ты к окошку прислонился».
«Из-за твоих сверкающих зазноб».
«Ну что же, убедился?» «Усомнился».
Я вижу лишь аллею и сугроб».
«Вон Водолей с кувшином наклонился».
«Нам телескоп иметь здесь хорошо б».
«Да, хорошо б». «И ты б угомонился».
«Что?! Телескоп?! На кой мне телескоп!»
«Ну, Горбунов, чего ты взбеленился?»

«С ногами на постель мою ты влез.
Я думаю, что мог бы потрудиться
снять шлепанцы». «Но холодно мне без,
без шлепанцев. Не следует сердиться.
Я зябну потому, что интерес
к сырým лисичкам в памяти гнездится».
«Не снился Фрейду этакий прогресс!
Прогресса же не следует стыдиться:
приснится активисту мокрый лес,
и пассивист способен простудиться».

«Лисички не безвредны и, по мне,
они враги душевному здоровью.
Ты ценишь их?» «С любовью наравне».
«А что ты понимаешь под любовью?»
«Разлуку с одиночеством». «Вполне?»
«Возможность наклониться к изголовью
и к жизни прикоснуться в тишине
дыханием, руками или бровью...»
«На что ты там уставился в окне?»
«Само сопротивление суесловью».

«Не дашь ли ты мне яблока?» «Лови».
«Ну, что твои лисички-невелички?»
«Я думаю обычно о любви
всегда, когда смотрю я на лисички.
Не знаю где — в уме или в крови, —
но чувствую подобье переключки».
«Привычка и нормальное, увы,
стремление рассудка к обезличке».
«То область рук. А в сфере головы —
отсутствие какой-либо привычки».

«И, стало быть, во сне, когда темно,
ты грезишь о лисичках?» «Постоянно».
«Вернее, о любви?» «Ну, все равно.
По-твоему, наверно, это странно?»
«Не странно, а по-моему, грешно.
Грешно и, как мне думается, срамно!
Чему ты улыбаешься?» «Смешно».
«Не дашь ли ты мне яблока?» «Я дам, но
понять тебе лисичек не дано».
«Лисички — это, знаешь, полигамно».

Вот! Я тебя разделал под орех!
Есть горечь в горчаковской укоризне!»
«Зачем ты говоришь, что это грех?
Грех — то, что наказуемо при жизни.
А как накажешь, если стрелы всех
страданий жизни собрались, как в призме,
в моей груди? Мне снится без помех
грядущее». «Мы, стало быть, на тризне
присутствуем?» «И, стало быть, мой смех
сегодня говорит об оптимизме».

«А Страшный Суд?» «А он — движенье вспять,
в воспоминанья. Как в кинокартине.
Да что там Апокалипсис! Лишь пять,
пять месяцев в какой-нибудь пустыне.
А я полжизни протрубил и спать
с лисичками мне хочется отныне.
Я помню то, куда мне отступать
от Огненного Ангела Твердыни...»
«Боль сокрушит гордыню». «Ни на пядь;
боль напитала дерево гордыни».

«Ты, значит, не боишься темноты?»
«В ней есть ориентиры». «Поклянись мне».
«И я с ориентирами на ты.
Полно ориентиров, только свистни».
«Находчивость — источник суеты».
«Я не уверен в этом афоризме.
Душа не ощущает тесноты».
«Ты думаешь? А в мертвом организме?»
«Я думаю, душа за время жизни
приобретает смертные черты».

III. Горбунов в ночи

«Больница. Ночь. Враждебная среда...
Все это не трагедия... К тому же
и приговоры Страшного Суда
тем легче для души моей, чем хуже
ей было во плоти моей... Всегда,
когда мне скверно, думаю, что ту же
боль вынесу вторично без труда.
Так мальчика прослеживают в муже...
Лисички занесли меня сюда.
А то, что с ними связано, снаружи.

Они теперь мне снятся. А жена
не снится мне. И правильно. Где тонко,
там рвется. Эта мысль не лишена...
Я сделал ей намеренно ребенка.
Я думал, что останется она.
Хоть это — психология подонка.
Но, видимо, добрался я до дна.
Не знаю, как душа, а перепонка
цела. Я слышу шелест полотна.
Поет в зубах Бабанова гребенка...

Я голос чей-то слышу в тишине.
Но в нем с галлюцинациями слуха
нет общего: давление на дне —
давление безвредное для уха.
И голос тот противоречит мне.
Уверенно, настойчиво и глухо.
Кому принадлежит он? Не жене.

Не ангелам. Поскольку царство духа
безмолвствует с женою наравне.
Жаль, нет со мною старого треуха!

Больничная аллея. Ночь. Сугроб.
Гудит ольха, со звездами сражаясь.
Из-за угла в еврейский телескоп
глядит медбрат, в жида преобразаясь.
Сужается постель моя, как гроб.
Хрусталик с ней сражается, сужаясь.
И кровь шумит, как клюквенный сироп.
И щиколотки стынут, обнажаясь.
И делится мой разум, как микроб,
в молчанье безгранично размножаясь!

Нас было двое. То есть к алтарю...
Она ушла. Задетый за живое,
теперь я вечно с кем-то говорю.
Да, было двое. И осталось двое!
Февраль идет на смену январю.
Вот так, напоминая о конвое,
алтарь, благодаря календарю,
препятствует молчанью, каковое
я тем уничтожаю, что творю
в себе второе поле силовое.

Она ушла. Я одержим собой.
Собой? А не позвать ли Горчакова?
Эй, Горчаков!.. Да нет, уже отбой.
Да так ли это, впрочем, бестолково,
когда одни уста наперебой
поют двоих в отсутствие алькова?
Я сам слежу за собственной губой.
Их пополам притягивает слово.
Я — круг в сеченьи. Стало быть, любой
из нас двоих — магнитная подкова.

Ночь. Губы на два голоса поют.
Ты думаешь, не много ли мне чести?
Но в этом есть особенный уют:
пускай противоречие, но вместе.
Они почти семейство создают
в молчанье. А тем более — в присесте.

Возлюбленному верхняя приют.
А нижняя относится к невесте.
Но то, что на два делится, то тут
разделится, бесспорно, и на двести.

А все, что увеличилось вдвойне,
приемлемо и больше не ничтожно.
Проблему одиночества вполне
решить за счет раздвоенности можно.
Отчаянье раскраивает мне,
как доску, душу надвое, как нож, но
не я с ним остаюсь наедине.
А если двоедушие безбожно,
то не дрова нуждаются в огне,
а греет то, что противоположно.

Ты, Боже, если властен сразу двум,
двум голосам внимать, притом бегущим
из уст одних, и видеть в них не шум,
а вид борьбы минувшего с грядущим,
восхить к Себе мой кашляющий ум,
микробы расселив его по кущам,
и сумму дней и судорожных дум
Ты раздели им жестом всемогущим.
А мне оставь, как разность этих сумм,
победу над молчаньем и удушьем.

А ежели мне впрямь необходим
здесь слушатель, то, Господи, не мешкай:
пошли мне небожителя. Над ним
ни болью не возвышусь, ни усмешкой,
поскольку он для них неуязвим.
По мне, коль оборачиваться решкой,
то пусть не Горчаков, а херувим
возносится над грязною ночлежкой
и кружит над рыданиями и слезкой
прямым благословением Твоим».

IV. Горчаков и врачи

«Ну, Горчаков, давайте ваш доклад».
«О Горбунове?» «Да, о Горбунове».

«Он выражает беспартийный взгляд на вещи, на явления, — в основе своей диалектический; но ряд — но ряд его высказываний внове для нас». «Они, бесспорно, говорят о редкостной насыщенности крови азотом, разложившим аппарат самоконтроля». «Сросшиеся брови,

асимметричность подбородка, жир на подбородке. Нос его расцвечен сосудами, раздавшимися вширь...» «Я думаю, разрушенная печень». «Компрессами и путаницей жил асимметричный лоб его увенчан. Лисички — его слабость и кумир. Он так непривлекателен для женщин. «Преувеличен внутренний наш мир, а внешний соответственно уменьшен», —

вот характерный для него язык. В таких вот выражениях примерных свой истинный показывает лик сторонник непартийных, эфемерных воззрений...» «В этом чувствуется сдвиг налево от открытий достоверных марксизма». «Недостаточно улик». «А как насчет явлений атмосферных?» «А он отвык от женщины?» «Отвык. В нем нет телодвижений характерных

для этого... ну как его... ах ты!..» «Спокойно, Горчаков!» «...для женолюба». «А как он там... ну, в смысле наготы?.. Там органы и прочее?» «Сугубо, сугубо от нужды и до нужды. Простите, что высказываюсь грубо. «Ну что вы! Не хотите ли воды?» «Воды?» «А вы хотели коньяку бы?» «Не признаю я этой ерунды». «Зачем же вы облизывали губы?»

«Не знаю... Что-то связано с водой».
«Что именно?» «Не помню, извините».
«Наверное, стакан перед едой?»
«Да нет же, вы мне спутали все нити...
Постойте, вижу... человек... худой...
вокруг — пустыня... Азия... взгляните:
ползут пески татарской ордой,
пылает солнце... как его?... в зените.
Он окружен враждебной средой...
И вдруг — колодец...» «Дальше! Не тяните!»

«А дальше вновь все пусто и мертво.
Колодец... это самое... сокрылся».
«Эй, Горчаков! Что с Вами?» «Я... того.
Я, знаете, того... заговорился.
Во всем великолепье своего
идеализма нынче он раскрылся».
«Кто? Горбунов?» «Ну да, я про него.
Простите мне, товарищи, что сбился».
«Нет-нет, вы продолжайте. Ничего».
«Я слишком в Горбунова углубился».

Он — беспартийный, вот его беда!
И если день особенно морозен,
он сильно отклоняется туда...
ну, влево, к отопленью...» «Грандиозен!»
«А он религиозен?» «О, да-да!
Он так религиозен... религиозен!
Я даже опасуюсь иногда:
того гляди, что бухнется он оземь
и станет Бога требовать сюда».
«Он так от беспартийности нервозен».

«Он влево уклоняется». «Ха-ха!»
«Чему вы усмехаетесь, коллега?»
«Тому, что это, в общем, чепуха:
от Горчакова батареи слева,
от Горбунова, стало быть...» «Ага!
Как в шахматах? Король и королева?
Напротив!» «Справедливо». «От греха
запишем, так сказать, для подогрева
два мнения». «Идея неплоха».
«Какая ж это песня без припева?»

Ну вот и заключение... шнурков!
подшить!.. Эй, Горчаков, вы не могли бы
автограф свой?» «Я нынче без очков».
«Мои не подойдут?» «Да подошли бы.
Так: «влево уклоняется»... каков!
...«и вправо»... справедливо! Справедливы
два мнения. Мы этих барчуков...
Одно из двух: мы выкурим их, либо...»
«Спасибо вам, товарищ Горчаков.
На Пасху мы вас выпустим». «Спасибо.

Да-да. Благодарю. Благодарить...
Не сделать ли поклона поясного?..
Где Горбунов?! Глаза ему раскрыть!..
О ужас, я же истины — ни слова...
Да, собственно, откуда эта прыть?
Плевать на параноика лесного!
Уток теряет собственную нить,
когда под ним беснуется основа.
Как странно Горчакову говорить
безумными словами Горбунова!»

V. Песня в третьем лице

«И он ему сказал». «И он ему
сказал». «И он сказал». «И он ответил».
«И он сказал». «И он». «И он во тьму
воззрится и сказал». «Слова на ветер».
«И он ему сказал». «Но, так сказать,
сказать «сказал» сказать совсем не то, что
он сам сказал». «И он “к чему влезать
в подробности” сказал; все ясно. Точка».
«Один сказал другой сказал струит».
«Сказал греха струит сказал к веригам».
«И молча на столе сказал стоит».
«И, в общем, отдает татарским игом».
«И он ему сказал». «А он связал
и свой сказал, и тот, чей отзвук замер».
«И он сказал». «Но он тогда сказал».
«И он ему сказал; и время занял».

«И он сказал». «Вот так булыжник вдруг швыряют в пруд. Круги — один, четыре...»
«И он сказал». «И это — тот же круг, но радиус его, бесспорно, шире».
«Сказал — кольцо». «Сказал — еще кольцо».
«И вот его сказал уткнулся в берег».
«И собственный сказал толкнул в лицо, вернувшись вспять». «И больше нет Америк».
«Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал».
«Суть поезда». «Все дальше, дальше рейсы».
«И вот уже сказал почти вокзал».
«Никто из них не хочет лечь на рельсы».
«И он сказал». «А он сказал в ответ».
«Сказал исчез». «Сказал пришел к перрону».
«И он сказал». «Но раз сказал — предмет, то так же относиться должно к он'у».

«И он ему». «И он». «И он ему».
«И я готов считать, что вечер начат».
«И он ему». «И это все к тому, что оба суть одно взаимно значат».
«Он, собственно, вопрос». «Ему — ответ».
«Потом наоборот». «И нет различья».
«Конечно, между ними есть просвет».
«Но лишь как средство избежать двуличья».
«Он кем (ему) приходится ему?»
«И в неживой возможны ли природе сношенья, неподсудные уму?»
«Пусть не родня обычная, но вроде?»
«Чего не разберет судебный зал! Сидит судья; очки его без стекол».
«Он кто ему?» «Да он ему — сказал».
«И это грандиознее, чем свекор».

«Огромный дом. Слепые этажи. Два лика, побледневшие от вони».
«Они не здесь». «А где они, скажи?»
«Где? В он-ему-сказал'е или в он'е».
«Огромный дом. Фигуры у окна. И гомон, как под сводами вокзала. Когда здесь наступает тишина?»
«Лишь в промежутках он-ему-сказал'а».
«Сказала», знаешь, требует «она».

«Но это же сказал во время он'а».
«А все-таки приятна тишина».
«Страшнее, чем анафема с амвона».
«Так, значит, тут страшатся тишины?»
«Да нет; как обстоятельствами места
и времени, все объединены
сказал'ом, наподобие инцеста».

«И это — образ действия?» «О да.
Они полны сношениями своими».
«Когда они умолкнут?» «Никогда».
«Наверное, как собственное имя».
«Да, собственное имя — концентрат.
Оно не допускает переносов,
замен, преобразований и утрат».
«И это, в общем, двигатель вопросов».
«Вот именно! И косвенная речь
в действительности — самая прямая».
«И этим невозможно пренебречь
без личного ущерба». «И, внимая
тому, что Он Сказал произнесет,
как дети у церковного притвора,
мы как бы приобщаемся высот,
достигнутых еще до разговора».

«Что вам приснилось, Он Ему Сказал?»
«Кругом — врачи». «Рассказывать подробно».
«Мне ночью снился океанский вал.
Мне снилось море». «Неправдоподобно!»
«Должно быть, он забыл уже своих
лисичек». «Невозможно!» «Вероятно».
«Да нет, он отвечает за двоих».
«И это уж, конечно, необъятно».
«Я видел сонмы сумеречных вод.
Отчетливо и ясно. Но, при этом,
я видел столь же ясно небосвод...»
«И это вроде выстрела дуплетом».
«...И гребни, словно гривы жеребцов,
расставшихся с утопленной повозкой».
«А не было там, знаете, гребцов,
утопленников?» «Я не Айвазовский.
Я видел гребни пенившихся круч.
И берег — как огромная подкова...

И Он Сказал носился между туч
с улыбкой Горбунова, Горчакова».

VI. Горбунов и Горчаков

«Ну, что тебе приснилось? Говори».
«Да я ж тебе сказал о разговоре
с комиссией». «Да брось ты, не хитри.
Я сам его подслушал в коридоре».
«Ну вот, я говорю...» «Держу пари,
ты станешь утверждать, что снится море».
«Да, море, разумеется». «Не ври,
не верю». «Не настаиваю. Горе
невелико». «Ты только посмотри,
как залупился! Истинно на воре

и шапка загорается». «Ну, брось».
«Чего ж это я брошу, интересно?»
«Да я же, Горчаков, тебя насквозь...»
«Нашелся рентгенолог!» «Неуместно
подшучиваешь. Как бы не пришлось
раскаиваться». «Выдумашь!» «Честно.
Как только мы оказывались врозь,
комиссии вдруг делалось известно,
о чем мы тут... Сексотничал, небось?
Чего же ты зарделся, как невеста?»

«Ты сердишься?» «Да нет, я не сержусь».
«Не мучь меня!» «Что, я — тебя? Занятно!»
«Ты сердишься». «Ну, хочешь побожусь?»
«Тебе же это будет неприятно».
«Да нет, я не особенно стыжусь».
«Вот это уже искренне». «Обратно
за старое? Неужто я кажусь
тебе достойным слезки? Непонятно».
«А что ж не побожишься?» «Я боюсь,
что ты мне не поверишь». «Вероятно».

«Я что-то в этом смысла не пойму».
«Я смешиваю зерна и полову».
«Вот видишь, ты не веришь ничему:
ни Знамению Крестному, ни слову».

«Война в Крыму. Все, видимо, в дыму.
Цитирую по дедушке Крылову...
Отсюда ты направишься в тюрьму». «Ты шел бы, подобру да поздорову...»
«Чего ты там таращишься во тьму?»
«Уланову я вижу и Орлову».

«Я, знаешь ли, смогаюсь в коридор». «Зачем?» «Да так, покалывает темя». «Зачем ты вечно спрашиваешь?» «Вздор!»
«Что, истины выискиваешь семя?»
«Ты тоже ведь таращишься во двор». «Секотишь, вероятно, сучье племя». «Я просто расширю кругозор». «Не веря?» «Недоверчивость не бремя. Ты знаешь, и донос, и разговор — все это как-то скрашивает время».

«А время как-то скрашивает дни». «Вот, кажется, и темя отпустило... Ну, что тебе приснилось, не темни!»
«А, все это тоскливо и постыло... Ты лучше посмотрел бы на огни». «Ну, тени от дощатого настила...»
«Орлова! и Уланова в тени...»
«Ты знаешь, как бы кофе не остыло». «Война была, ты знаешь, и они являлись как бы символами тыла».

«Вторая половина февраля. Смотри-ка, что показывают стрелки». «Я думаю, лишь радиус нуля». «А цифры?» «Как бордюрчик на тарелке... Сервиз я видел, сделанный а-ля мейсенские...» «Мне нравятся подделки». «Там надпись: «мастерская короля» и солнце — вроде газовой горелки». «Сейчас я взял бы вермуту». «А я сейчас не отказался бы от грелки...»

Смотри, какие тени от куста!»
«Прости, но я материю все ту же... те часики...» «Обратно неспроста?»

«Ты судишь обо мне гораздо хуже,
чем я того...» «Виной твои уста».
«Неужто ж ноль?» «Ага». «Но почему же?»
«Да просто так; снаружи — пустота».
«Зато внутри теплее, чем снаружи».
«Ну, эти утепленные места
являются лишь следствиями стужи».

«А как же быть со штабелями дров?»
«Наверное, связующие звенья...
О Господи, как дует из углов!
И холодно, и голоден как зверь я».
«Болезни — это больше докторов».
«Подворье грандиознее преддверья».
«Но все-таки, ты знаешь, это кров».
«Давай-ка, Горчаков, без лицемерья;
и знай — реальность высказанных слов
огромней, чем реальность недоверья».

«Да, стужа грандиознее тепла».
«А время грандиознее, чем стрелка».
«А дерево грандиознее дупла».
«Дупло же грандиознее, чем белка».
«А белка грациознее орла».
«А рыбка... это самое... где мелко».
«Мне хочется раздеться догола!»
«Где радиус, там вилка и тарелка!»
«А дерево, сгоревшее дотла...»
«Едва ли грандиознее, чем грелка».

VII. Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» «Да, прежняя трава.
Всё овощи...» «Не стоит огорчаться.
Нам птичьи тут отпущены права».
«Но мясо не должно бы запрещаться».
«Взгляни-ка лучше: новые дрова...»
«Имею же я право возмущаться!»
«Ну нет, администрация права,
права в пределах радиуса». «Вжаться
в сей радиус не жаждет голова,
а брюхо...» «Не желаю возвращаться

к изложенному выше; и к тому ж,
мне кажется, пошаливает почка».
«Но сам-то я — вне радиуса». «Чушь!
А кто же предо мной?» «Лишь оболочка».
«Ну, о неограниченности душ
слыхал я что-то в молодости. Точка».
«Да нет, помимо этого, я — муж.
Снаружи и жена моя, и дочка.
«Тебе необходим холодный душ!
Где именно?» «На станции Опочка».

«Наверное, приснилось». «Ни фига.
Скорее, это я тебе приснился».
«Опочка где-то в области». «Ага».
«Далёко ты того... распространился».
«Мне следует удариться в бега».
«Не стоит. Ты весьма укоренился».
«Ты прав. Но, говорят, одна нога...
другая там... Вообще я обленился!
Не сделать семимильного шага!»
«Ну-ну, угомонись». «Угомонился».

«Ты сколько зарабатывал?» «Семьсот;
по-старому». «И где же?» «В учрежденье».
«Боишься, что спросил и донесет?»
«Ну кто себе откажет в наслажденье?»
«Тебя мое молчанье не спасет».
«Да, знаешь ли, по зрелом рассужденье...»
«Приятнее считать, что я сексот,
чем размышлять о местонахожденье».
«Увы, до столь пронзительных высот
мешает мне взорлить происхожденье».

«Так что ж ты заседаешь на меню?»
«Еще не превратился в ветерана
и трижды то же самое на дню...»
«Ты меряешь в масштабах ресторана».
«Я вписываю в радиус родню».
«Тебе, должно быть, резали барана
для ужина». «Я, собственно, клоню
к тому, что мне отказываться рано
от прошлого». «Кончай пороть херню».
«А что тебе не нравится?» «Пространно».

«Я радиус расширил до родни.
«Тем хуже для тебя оно, тем хуже».
«Я только ножка циркуля. Они —
опора неподвижная снаружи».
«И это как-то скрашивает дни,
чем шире этот радиус?» «Чем уже.
На свете так положено: одни
стоят, другие двигаются вчуже».
«Бывают неподвижные огни,
расширенные радиусом лужи».

«Я двигаюсь!» «Не ведаю, где старт,
но финиш — ленинградские сугробы».
«Я жив, пока я двигаюсь. Декарт
мне мог бы позавидовать». «Еще бы!
Мне нравится твой искренний азарт».
«А мне твои душевные трущобы
наскучили». «А что твой миллиард —
ну, звездные ковши и небоскребы?»
«Восходит Овн, курирующий март».
«Иметь здесь телескоп нам хорошо бы».

«Вот именно. Нам стали бы видны
опоры наши дальние». «Начатки
движения». «Мы чувствовать должны
устойчивость Опочки и Камчатки».
«Я в марте родился. Мне суждены
шатания. Мне сняли отпечатки...
Как жаль, что мы дрожать принуждены:
опоры наши дальние столь шатки...»
«Которые под Овном рождены,
должны ходить в каракулевой шапке».

«Ты думаешь, от холода дрожу?»
«А сверься с посиневшими пальцами».
«А ты?» «Я Близнецам принадлежу.
Я в мае родился, под Близнецами».
«Тепло тебе?» «Поскольку я сужу...»
«Короче! Не мудри с немудрецами!»
«В сравнении с тобой я нахожу,
что вовсе мне не холодно». «С концами!»
«В чем дело, Горчаков?» «Не выношу!»
«Да нет, все это правда — с месяцами».

«Увы, на телескоп не наскрести,
и мы своих опор не наблюдаем».
«Пусть радиус у жизни не в чести,
сам циркуль, Горчаков, неувядаем».
«Еще умру тут, Господи, прости,
считая, что тот свет необитаем».
«Нет, не умрешь; напрасно не грусти».
«Ты думаешь?» «Обсудим». «Обсуждаем».
«Тот груз, которым нынче обладаем,
в другую жизнь нельзя перенести».

VIII. Горчаков в ночи

«Твой довод мне бессмертие сулит!
Мой разум, как извилины подстилки,
сияньем твоих доводов залит —
не к чести моей собственной коптилки...
Проклятие, что делает колит!
И мысли — словно демоны в бутылке.
Твой светоч мой фитиль не веселит!
О Горбунов! от слов твоих в затылке,
воспламеняясь, кровь моя бурлит —
от этой искры, брошенной в опилки!

Ушел... Мне остается монолог.
Плюс радиус ночного циферблата...
Оставил только яблоки в залог
и смылся, наподобие Пилата!
Попробуем забиться в уголок,
исследуем окраины халата.
Водрузим на затылок котелок
с присохшими остатками салата...
Какие звезды?! Пол и потолок.
В окошке — отражается палата.

Ночь. Окна — бесконечности оплот.
Палата в них двоится и клубится.
За окнами — решетки переплет:
наружу отраженью не пробиться.
В пространстве этом — задом наперед —
постелью мудрено не ошибиться.
Но сон меня сегодня не берет.

Уснуть бы... и вообще — самоубиться!
Рискуя — раз тут всё наоборот —
тем самым в свою душу углубиться!

Уснуть бы... Санитары на посту.
Приносит ли им пользу отраженье?
Оно лишь умножает тесноту,
поскольку бесконечность — умноженье.
Я сам уже в глазах своих расту,
и стекла, подхлестнув воображенье,
сжимают между койками версту...
Я чувствую во внутренностях жженье,
взирая на далекую звезду.
Основа притяженья — торможенье!

Нормальный сон — основа всех основ!
Верней, выздоровления основа.
Эй, Горбунов!.. На кой мне Горбунов?!
Уменьшим свою речь на Горбунова!
Сны откровенней всех говорунов
и грандиозней яблока глазного.
Фрейд говорит, что каждый — пленник снов.
Как странно в это вдумываться снова...
Могилы исправляют горбунов!..
Конечно, за отсутствием иного
лекарства... А сия галиматья —
лишь следствие молчания соседних
кроватей. Ибо чувствую, что я
тогда лишь есмь, когда есть собеседник!
В словах я приобщаюсь бытия!
Им нужен продолжатель и наследник!
Ты, Горбунов, мой высший судия!
А сам я — только собственный посредник
меж спящим и лишенным забытья,
смотритель своих выбитых передних...

Ночь. Форточка... О если бы медбрат
открыл ее!.. Не может быть и речи.
На этот — ныне запертый — квадрат
приходятся лицо мое и плечи.
Ведь это означало бы разврат,
утечку отражения. А течи
тем плохи, что любой дегенерат

решился бы, поскольку недалече,
удрать хоть головою в Ленинград...
О Горбунов! я чувствую при встрече

с тобою, как нормальный идиот,
себя всего лишь радиусом стрелки!
Никто меня, я думаю, не ждет
ни здесь, ни за пределами тарелки,
заполненной цифирью. Анекдот!
Увы, тебе масштабы эти мелки!
Грядет твое мучение. Ты тот,
которому масштаб его по мерке.
Весь ужас, что с тобой произойдет,
ступеньки разновидность или дверки

туда, где заждались тебя. Грешу
лишь тем, что не смогу тебя дозваться.
Ты, Горбунов! Покуда я дышу,
во власть твою я должен отдаваться!
К тебе свои молитвы возношу!
Мне некуда от слов твоих деваться!
Приди ко мне! Я слов твоих прошу.
Им нужно надо мною раздаваться!
Затем-то я на них и доношу,
что с ними не способен расставаться,

когда ты удаляешься... Прости!
Не то чтобы страшился я разлуки...
Зажав освобождение в горсти,
к тебе свои протягиваю руки.
Как все, что предстоит перенести —
источник равнодушия и скуки, —
не помни, Горбунов, меня, не мсти!
Как эхо, продолжающее звуки,
стремясь их от забвения спасти,
люблю и предаю тебя на муки».

IX. Горбунов и врачи

«Ну, Горбунов, рассказывайте нам!»
«О чем?» «О ваших снах». «Об оболочке».
«И называйте всех по именам».

«О циркуле». «Рассказывай о дочке».
«Дочь не имеет отношения к снам».
«Давай-ка, Горбунов, без проволоочки».
«Мне снилось море». «Ну его к хренам».
«Да, лучше обойдемся без примочки».
«Без ваших по морям да по волнам».
«Начните, если хочется, с Опочки».

«Зачем вам это?» «Нужно». «И сполна».
«Для вашей пользы». «Реплика во вкусе
вопросов Красной Шапочки. Она,
вы помните, спросила у бабуси
насчет ушей, чья странная длина...
«не бойся» — та в ответ, — «ахти, боюсь»,
«чтоб лучше слышать внучку!» «Вот те на!
Не думали о вас мы как о трусе».
«К тому ж в итоге крошка спасена».
«Во всем есть плюсы». «Думайте о плюсе».

«Чего молчите?» «Просто невтерпез!
Дождется, что придется рассердиться!»
«Чего ты дожидаясь?» «Что ложь,
не встретив возражений, испарится».
«И что тогда?» «Естественнее все ж
на равных толковать, как говорится».
«Ну, мне осточертел его скулеж».
«Давайте впрыснем кальцию, сестрица».
«Он весь дрожит». «Естественная дрожь».
То мысли обостряются от шприца».

«Ну, Горбунов, припомнили ли вы,
что снилось?» «Только море». «А лисички?»
«Увы, их больше не было». «Увы!»
«Я свыкся с ними. Это — по привычке».
«О женщинах, когда они мертвы
или смотались к черту на кулички,
так сетуют мужчины». «Вы правы:
«увы» — мужская реплика. Кавычки».
«Но может быть и возгласом вдовы».
«Запишем обе мысли в рапортчике».

«Сны обнажают тайную канву
того, что совершается в мужчине».

«А то, что происходит наяву,
не так нас занимает по причине...»
«Причину я и сам вам назову».
«Да: Горчаков. Но дело не в личине,
им принятой скорей по озорству;
но в снах у вас — тенденция к пучине».
«Вы сон мой превращаете в Неву.
А устье говорит не о кончине,

скорей о размножении». «Едва ль
терпимо, чтоб у всяческих отбросов
пошло потомство». «Экая печаль.
Река, как уверяет нас философ,
стоит на месте, убегая вдаль».
«И это, говорят, вопрос вопросов».
«Отсюда Ньютон делает мораль».
«Ага! опять Ньютон!» «И Ломоносов».
«А что у нас за окнами?» «Февраль.
Пора метелей, спячки и доносов».

«Как месяц, он единственный в году
по дням своим». «Подобие калеки».
«Но легче ведь прожить его?» «К стыду,
признаюсь: легче легкого». «А реки?»
«Что — реки?» «Замыкаются во льду».
«Но мы-то говорим о человеке».
«Вы знаете, что ждет вас?» «На беду,
подозреваю: справка об опеке?»
«Со всем, что вы имеете в виду,
вы, в общем, здесь останетесь навеки».

«За что?!. а впрочем, следует в узде
держаться себя... нет выхода другого».
«И кликнуть Горчакова». «О звезде
с ним можно побеседовать». «Толково».
«Везде есть плюсы». «Именно. Везде».
«И сам он вездесущ, как Иегова;
хотя он и доносит». «На гвозде,
как правило, и держится подкова».
«Как странно Горбунову на кресте
рассчитывать внизу на Горчакова».

«Зачем преувеличивать?» «К чему, милейший, эти мысли о Голгофе?»
«Но это — катастрофа». «Не пойму: вы вечность приравняли к катастрофе?»
«Он вечности не хочет потому, что вечность — точно пробка в полуштофе».
«Да, все это ему не по уму».
«Эй, Горбунов, желаете ли кофе?»
«Почто меня покинул!» «Вы к кому взываете?» «Опять о Горчакове»

тоскует он». «Не дочка, не жена, а Горчаков!» «Все дело в эгоизме».
«Да Горчаков ли?» «Форма не важна. Эй, Горбунов, а ну-ка, покажись мне. Твоя, ты знаешь, участь решена».
«А Горчаков?» «Предайся укоризне: отныне вам разлука суждена. Отпустим. Не вздыхай об этом слизне».
«Отныне, как обычно после жизни, начнется вечность». «Просто тишина».

Х. Разговор на крыльце

«Огромный город в сумраке густом».
«Расчерченная школьная тетрадка».
«Стоит огромный сумасшедший дом».
«Как вакуум внутри миропорядка».
«Фасад скрывает выстуженный двор, заваленный сугробами, дровами».
«Не есть ли это тоже разговор, коль скоро все описано словами?»
«Здесь — люди, и сошедшие с ума от ужасов — утробных и загробных».
«А сами люди? Именно сама возможность называть себе подобных людьми?» «Но выражение их глаз? Конечности их? Головы и плечи?»
«Вещь, имя получившая, тотчас становится немедля частью речи».
«И части тела?» «Именно они».
«А место это?» «Названо же домом».

«А дни?» «Поименованы же дни».
«О, все это становится Содомом

слов алчущих! Откуда их права?»
«Тут имя прозвучало бы зловеще».
«Как быстро разбухает голова
словами, пожирающими вещи!»
«Бесспорно, это голову кружит».
«Как море — Горбунову; нездорово».
«Не море, значит, на берег бежит,
а слово надвигается на слово».
«Слова — почти подобие мощей!»
«Коль вещи эти где-нибудь да висли...
Названия — защита от вещей».
«От смысла жизни». «В некотором смысле».
«Ужель и от страдания Христа?»
«От всякого страдания». «Бог с вами!»
«Он сам словами пользовал уста...
Но он и защитил себя словами».
«Тем, собственно, пример его и вещь!»
«Гарантия, что в море — не утонем».
«И смерть его — единственная вещь
двузначная». «И, стало быть, синоним».

«Но вечность-то? Иль тоже на столе
стоит она сказалом в казакине?»
«Единственное слово на земле,
предмет не поглотившее поныне».
«Не это ли защита от словес?»
«Едва ли». «Осеняющийся Крестным
Знаменем спасется». «Но не весь».
«В синониме не более воскреснем».
«Не более». «А ежели в любви?
Она — сопротивление суесловью».
«Вы либо небожитель, либо вы
мешаете потенцию с любовью».
«Нет слова, столь лишенного примет».
«И нет непроницаемой покрова,
столь полно поглотившего предмет,
и более щемящего, как слово».
«Но ежели взглянуть со стороны,
то можно, в общем, сделать замечанье:

и слово — вещь. Тогда мы спасены!»
«Тогда и начинается молчанье.

Молчанье — это будущее дней,
качущихся навстречу нашей речи,
со всем, что мы подчеркиваем в ней,
с присутствием прощания при встрече.
Молчанье — это будущее слов,
уже пожравших гласными всю вечность,
страшащюся собственных углов;
волна, перекрывающая вечность.
Молчанье есть грядущее любви;
пространство, а не мертвая помеха,
лишающее бьющийся в крови
фальцет ее и отклика, и эха.
Молчанье — настоящее для тех,
кто жил до нас. Молчание — как сводня,
в себе объединяющая всех,
в глаголющее входящая сегодня.
Жизнь — только разговор перед лицом
молчанья». «Пререкания движений».
«Речь сумерек с расплывшимся концом».
«И стены — воплощенье возражений».

«Огромный город в сумраке густом».
«Речь хаоса, изложенная кратко».
«Стоит огромный сумасшедший дом,
как вакуум внутри миропорядка».
«Проклятие, как дует из углов!»
«Мой слух твое проклятие не колет:
не жизнь передо мной — победа слов».
«О как из существительных глаголет!»
«Так птица вылетает из гнезда,
гонимая заботами о харче».
«Восходит над равниною звезда
и ищет собеседника поярче».
«И самая равнина, сколько взор
охватывает, с медленностью почты
поддерживает ночью разговор».
«Чем именно?» «Неровностями почвы».
«Как различить ночных говорунов,
хоть смысла в этом нету никакого?»
«Когда повыше — это Горбунов,
а где пониже — голос Горчакова».

XI. Горбунов и Горчаков

«Ну, что тебе приснилось?» «Как всегда». «Тогда я и не спрашиваю». «Так-то, проснулось чувство — как его? — стыда». «Скорее чувство меры или такта». «Хорош!» «А что поделаешь? Среда заела. И зависимость от факта». «Какого?» «Попадания сюда». «Ты довести способен до инфаркта. Пошел ты вместе с фактами... туда». «Давай не будем прерывать контакта».

«Зачем тебе?» «А кто его». «Ну что ж... Так ты меня покинешь?» «После Пасхи». «Куда же ты отсюда пойдешь?» «Домой пойду». «А примут без опаски?» «Я думаю». «А где же ты живешь?» «Не предаю я адреса огласке». «Сдается мне, дружок, что это ложь». «Как хочешь». «Не рассказывай мне сказки». «Ты все равно ко мне не попадешь». «О чем ты?» «Я все больше о развязке».

«Тогда ты прав». «Я думаю, что прав». «Лишь думаешь?» «Ну, вырвалось случайно. Я сомневаться не имею прав». «А чем займешься дома?» «Это тайна». «Подобный стиль беседовать избрав, контакта хочешь? Странно чрезвычайно». «Не стиль таков, а, собственно, мой нрав». «А может, хочешь яблока ты?» «Дай, но не расколось я, яблоко забрав... Поднять и бросить, вира или майна —

вот род моих занятий основной. Все прочее считаю посторонним». «Глаза мне застилает пеленой! Поднять и бросить! — это же синоним всего происходящего со мной». «Ну, мы тебя, не бойся, не уроним». «Что значит «мы»?» «Не нервничай, больной. Хошь, научу гаданью по ладоням?»

«Прости, я повернусь к тебе спиной».
«Ужель мы нашу дружбу похороним?!

Ты должен быть, по-моему, добрей». «Таким я вышел, видимо, из чрева». «Но бытие...» «Чайку тебе?» «Налей... определяет...» «Греть?» «Без подогрева... сознание... Ну ладно, подогрей». «Прочел бы это справа ты налево». «Да что же я, по-твоему — еврей?» «Еврей снял это яблоко со древа познания». «Ты, братец, дуралей. Сняла-то Ева». «Видно, он и Ева».

«А все ж он был по-своему умен. Является создателем науки. И имя звучно». «Лучше без имен. Боюсь, не отхватили бы мне руки за этот смысловой палиндромон». «Он тоже обрекал себя на муки. Теперь он вождь народов и племен». «Панмонголизм! как много в этом звуке». «Он тоже вроде был приговорен». «Наверно, не к разлуке». «Не к разлуке».

«Что есть разлука?» «Знаешь, не пойму, зачем тебе?» «Считай, для картотеки». «Разлука — это судя по тому, с кем расстаешься. Дело в человеке. Где остаешься. Можно ль одному остаться там, подавшись в имяреки? Коль с близким, — отдаешь его кому? Надолго ли?» «А ежели навеки?» «Тогда стоишь и пялишься во тьму такую, как опущенные веки

обычно создают тебе для сна. И вздрагиваешь изредка от горя, поскольку мрака явственность ясна. И ни тебе лисичек или моря». «А ежели за окнами весна? Весной все легче». «Спорно это». «Споря, не забывай, что в окнах — белизна». «Тогда ты — словно вырванное с поля».

«Земля не кровоточит, как десна». «Ну, видимо, на то Господня воля...»

А что тебе разлука?» «Трепотня...
Ну, за спиной закрывшиеся двери.
И, если это день, сиянье дня». «А если ночь?» «Смотря по атмосфере.
Ну, может, свет горящего огня.
А нет — скамья пустующая в сквере». «Ты расставался с кем-нибудь, храня воспоминанья?» «Лучше на примере». «Ну, что ты скажешь, потеряв меня?» «Вообще-то я не чувствую потери».

«Не чувствуешь? А все твоё нытьё о дружбе?» «Это верно и поныне.
Пока у нас совместное житьё,
нам лучше, видно, вместе по причине того, что бытиё...» «Да не на «ё»!
Не бытиё, а бытие». «Да ты не — не придирайся... да, небытиё, когда меня не будет уж в помине, придаст своеобразие равнине». «Ты, стало быть, молчание мое...»

ХII. Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» «Я ужинал. А ты?» «Я ужинал». «И как тебе капуста?» «Щи оставляют в смысле густоты желать, конечно, лучшего: не густо». «А щи вообще, как правило, пусты. Есть даже поговорка». «Это грустно. Хоть укуса чуть-чуть для остроты!» «Все — пусто». «Отличается на вкус-то, наверно, пустота от пустоты». «Не жвачки мне хотелось бы, а хруста».

«В такие нас забросило места, что ничего не остается, кроме как постничать задолго до Поста». «Ты говоришь о сумасшедшем доме?» «Да, наша география проста».

«А что потом?» «Ты вечно о потом'е!
Когда — потом?» «По снятии с креста».
«О чем ты?!» «Отнесись как к идиому».
«Положат хоть лаврового листа».
«А разведут по-прежнему на бrome».

«Да, все это не кончится добром.
Бром вреден — так я думаю — здоровью».
«И волосы вылазят. Это — бром!
Ты приглядиись к любому изголовью:
Бабанов расстается с серебром,
Мицкевич с высыпающейся бровью.
И у меня на темени разгром.
Он медленно приводит к малокровью».
«Бром — стенка между бесом и ребром,
чтоб мы мозги не портили любовью».

Я в армии глотал его». «Один?»
«Всей армией. Мы выдумали слово.
Он назывался «противостоин».
Какая с ним Уланова-Орлова!»
«Я был брюнет, а делаюсь блондин.
Пробор разрушен! Жалкая основа...
А ткани нет... не вышло до седин
дожить...» «Не забывай же основного».
«Чего не забывать мне, господин?»
«Быть может, не потребуется снова».

«Кто?» «Кудри». «Вероятно». «Не дрожи».
«Мне холодно». «Засунул бы ты руки
под одеяло». «Правильно». «Скажи,
что есть любовь?» «Сказал...» «Но в каждом звуке
другие рубежи и этажи».
«Любовь есть предисловие к разлуке».
«Не может быть!» «Я памятником лжи
согласен стать, чтоб правнуки и внуки
мне на голову клали!» «Не блажи».
«Я это, как и прочее, от скуки».

«Проклятие, как дует от окна».
«Залеплено замазкой». «Безобразно».
Смотри, и батарея холодна!»
«Здесь вообще и холодно и грязно...
Смотри, звезда над деревом видна —

без телескопа». «Видно и на глаз, но звезда не появляется одна».

«Я вдруг подумал — но, конечно, праздно, — что если крест да распилить бы на дрова, взойдет ли дым крестообразно?»

«Ты спятил!» «Я не спятил, а блюду твой интерес». «Похвальная сердечность.

Но что имеешь, собственно, в виду?»

«Согреть окоченевшую конечность».

«Да, все мои конечности во льду».

«Я прав». «Но в этом есть бесчеловечность.

Сложи поленья лучше как звезду».

«Звезда, ты прав, напоминает вечность; не то что крест, к великому стыду».

«Не вечность, а дурную бесконечность».

«Который час?» «По-видимому, ночь».

«Молю, не начинай о Зодиаке».

«Снаружи и жена моя, и дочь».

«Что о любви, то верно и о браке».

«Я тоже поджениться бы не прочь».

«А вот тебе не следовало». «Паки

и паки, я гляжу, тебе невмочь,

что я женат». «Женился бы на мраке!»

«Ну, я к однообразью неохоч».

«В семье есть ямы, есть и буераки».

«Который час?» «Да около ноля!»

«О, это поздно». «Не имея вкуса к цифири, я скажу тебе, что для меня все «о» — предшественницы плюса».

«Ну, дали мои губы кругалю...»

«То ж следствие зевоты и прикуса».

«Чего ты добиваешься, валя

все в кучу?» «Недоступности Эльбруса».

«А соразмерной впадины Земля

не создала?» «Отпраздновала труса».

«Уж если размышляешь о горе,

то думай о Голгофе, по причине

того, что уже март в календаре,

и я исчезну где-нибудь в лощине».

«Иль в облаке сокрывшись, как в чадре,

сыграешь духа в этой чертовщине». «На свой аршин ты меряешь, тире, твоей двуглавой снеговой вершине не уместиться ввек в моем аршине, сжимающем сугробы во дворе».

XIII. Разговоры о море

«Твой довод мне бессмертие сулит. Но я, твоим пророчествам на горе, уже наполовину инвалид. Как снов моих прожектор в коридоре, твой светоч мою тьму не веселит... Но это не в укор и не в укор все дело. То есть, пусть его горит!.. В открытом и в смежающемся взоре все время что-то мощное бурлит, как будто море. Думаю, что море».

«Больница. Ночь. Враждебная среда. Внимать я не могу тебе без дрожи от холода, но также от стыда за светоч. Ибо море — это все же есть впадина. Однако же туда я не сойду, хоть истина дороже... Но я не причиню тебе вреда! Куда уж больше! Видимо, ты тоже не столь уверен, море ли... Беда. На что все это, Господи, похоже?»

«Пожалуй, море... Чайки на молу над бабой, в них швыряющейся коркой. И ветер треплет драную полу, хлеща волнообразною оборкой ей туфли... И стоит она в пылу визгливой битвы, с выбившейся челкой, швыряет хлеб и пялится во мглу... Как будто, став внезапно дальноройкой, высматривает в Турции пчелу».

«Да, это море. Именно оно. Пучина бытия, откуда все мы, как витязи, явились так давно,

что, не коснись ты снова этой темы, забыл бы я, что существует дно и горизонт, и прочие системы пространства, кроме той, где суждено нам видеть только крашенные стены с лиловыми их полосами; но умеющие слышати, да немы».

«Есть в жизни нечто большее, чем мы, что греет нас, само себя не грея, что громоздит на впадины холмы — хотя бы и при помощи Борея, друг другу их несущего взаимы. Я чувствую, что шествую во сне я ступеньками, ведущими из тьмы то в бездну, то в преддверье эмпирея, один, среди цветущей бахромы — бессонным эскалатором Нерея».

«Но море слишком чуждая среда, чтоб верить в чьи-то странствия по водам. Конечно, если не было там льда. Похоже, Горбунов, твоим невзгодам конца не видно. Видно, на года, как вся эта история с исходом, рассчитаны они... Невесть куда все дальше побредешь ты с каждым годом, туда, где с небом соткана вода. К кому воззвать под этим небосводом?»

«Для этого душа моя слаба. Я волны, а не крашенные наши простенки узрю всюду, где судьба прибьет меня — от Рая до параша. И это, Горчаков, не похвальба: в таком водонебесном ералаше о чем бы и была моя мольба? Для слышати умеющего краше валов артиллерийская пальба, чем слезное моление о чаше».

«Но это — грех!.. да что же я? Браня тебя, забыл о выходке с дровами... Мне помнится, ты спрашивал меня,

что снится мне. Я выразил словами,
и я сказал, что сон — наследье дня,
а ты назвал лисички островами.
Я это говорю тебе, клоня
к тому, что жестко нам под головами.
Теперь ты видишь море — трепотня!
И тот же сон, хоть с большими правами».

«А что есть сон?» «Основа всех основ».
«И мы в него впадаем, словно реки».
«Мы в темноту впадаем, и хренов
твой вымысел. Что спрашивать с калеки!»
«Сон — выход из потемок». «Горбунов!
В каком живешь, ты забываешь, веке.
Твой сон не нов!» «И человек не нов».
«Зачем ты говоришь о человеке?»
«А человек есть выходец из снов».
«И что же в нем решающее?» «Веки.

Закроешь их и видишь темноту».
«Хотя бы и при свете?» «И при свете...
И вдруг заметишь первую черту.
Одна, другая... третья на примете.
В ушах шумит и холодно во рту.
Потом бегут по набережной дети,
и чайки хлеб хватают на лету...»
«А нет ли там меня, на парапете?»
«И все, что вижу я в минуту ту,
реальнее, чем ты на табурете».

XIV. Разговор в разговоре

«Но это — бред! Ты слышишь, это бред!
Поди сюда, Бабанов, ты — свидетель!
Смотри: вот я встаю на табурет!
На мне халат без пуговиц и петель!
Ну, Горбунов, узрел меня ты?» «Нет».
«А цвет кальсон?» «Ей-Богу, не заметил».
«Сейчас я размозжу тебе портрет!
Ну, Горбунов, считай, поднялся ветер!
Сейчас из моря будет винегрет!
Ты слышишь, гад?» «Да я уже ответил».

«Ах, так! Так пустим в дело кулаки!
Учить, учить приходится болванов!
На, получай! А ну-ка, прореки,
кто вдарил: Горчаков или Бабанов?»
«По-моему, Гор-банов». «Ты грехи
мне отпускаешь, вижу я! Из кранов
сейчас польет твой окиян!» «Хи-хи».
«А ты что ржешь?! У, скопище баранов!»
«Чего вы расшумелись, старики?»
«Уйди, Мицкевич!» «Я из ветеранов,

и я считаю, ежели глаза
чувак закрыл, — завязывай; тем боле,
что ночь уже». «Да я и врезал за,
за то, что он закрыл их не от боли».
«Сказал тебе я: жми на тормоза».
«Ты что, Мицкевич? Охренел ты, что ли?
Да на кого ты тянешь, стрекоза?»
«Я пасть те разорву!» «Ой-ой, мозоли!»
«Эй, мужики, из-за чего буза?»
«Да пес поймет». «На хвост кому-то соли

насыпали». «Атас, идут врачи!»
«В кровати, живо!» «Я уже в постели!»
«Ты, Горбунов, закройся и молчи,
как будто спишь». «А он и в самом деле
уже заснул». «Атас, звенят ключи!»
«Заснул? Не может быть! Вы обалдели!»
«Заткнись, кретин!» «Бабанов, не дрочи».
«Оставь его». «Я, правда, еле-еле».
«Ну, Горбунов, попробуй настучи».
«Да он заснул». «Ну, братцы, залетели».

«Как следует приветствовать врачей?»
«Вставанием... вставляйте, раскоряки!»
«Есть жалобы у вас насчет харчей?»
«Я слышал шум, но я не вижу драки».
«Какая драка, свет моих очей?»
«Медбрат сказал, что здесь дерутся». «Враки».
«Ты не юли мне». «Чей это ручей?»
«Да это ссака». «Я же не о ссаке».
«Не из чего, я спрашиваю — чей?»
«Да, чей, орлы?» «Кубанские казаки».

«Мицкевич!» «Ась?» «Чтоб вытереть, аспид!»
«Да, мы, врачи, заботимся о быте».
«А Горбунов что не встает?» «Он спит».
«Он, значит, спит, а вы еще не спите».
«Сейчас ложимся». «Верно, это стыд».
«Ну, мы пошли». «Смотрите, не храпите».
«Чтоб слышно, если муха пролетит!»
«Мне б на оправку». «Утром, потерпите».
«Ты, Горчаков, ответственный за быт».
«Да, вот вам новость: спутник на орбите».

«Ушли». «Эй, Горчаков, твоя моча?»
«Иди ты на...» «Ну, закрываем глазки».
«На Пасху хорошо бы кулича».
«Да, разговеться. Маслица, колбаски...»
«Чего же не спросил ты у врача?»
Ты мог бы это сделать без опаски:
он спрашивал». «Забыл я сгоряча».
«Заткнитесь вы. Заладили о Пасхе».
«Глянь, Горчаков-то, что-то бормоча,
льнет к Горбунову». «Это для отмазки».

«Ты вправду спишь? Да, судя по всему,
ты вправду спишь... Как спутались все пряди...
Как все случилось, сам я не пойму.
Прости меня, прости мне, Бога ради.
Постой, подушку дай приподниму...
Удобней так?.. Я сам с собой в разладе.
Прости... мне это все не по уму.
Спи... если вправду говорить о взгляде,
тут задержаться не на чем ему —
тут всё преграда. Только на преграде».

Спи, Горбунов. Пока труба отбой
не пропоет... Всем предпочту наградам
стеречь твой сон... а впрочем, с ней, с трубой!
Ты не привык, а я привык к преградам.
Прости меня с моею похвальбой.
Прости меня со всем моим разладом...
Спи, спи, мой друг. Я посижу с тобой.
Не над тобой, не под — а просто рядом.
А что до сроков — я прожду любой,
пока с тобой не повстречаюсь взглядом...

Что видишь? Море? Несколько морей?
И ты бредешь сквозь волны коридором...
И рыбы молча смотрят из дверей...
Я — за тобой... но тотчас перед взором
всплывают мириады пузырей...
Мне не пройти, не справиться с напором...
Что ты сказал?!. Почудилось... Скорей
всего, я просто брежу разговором...
Смотри-ка, как бесчинствует Борей:
подушка смята, конечно с пробором...»

1965—1968